Промышленные монополии

Фарфоровая монополия

Маргарита Штерн

Маргарита Штерн

Фарфоровая монополия

«Автор»
2026

Штерн М.

Фарфоровая монополия / М. Штерн — «Автор», 2026

Разорённая алхимик-технолог Амелия Вейн получает последний срок от банка: фабрику «Вейн и дочь» описали, а патент на глазурь, рецепт которой знает только она, вот-вот уйдёт с молотка. Столичный монополист Себастьян Кроу предлагает выход. Он погасит все долги, если она станет его публичной спутницей и лицом бренда. Условие простое: помочь сорвать помолвку, которую король навязал ему с дочерью банкира. Никаких чувств, только расчёт.Амелия соглашается и торгуется не хуже юристов, но одну вещь не отдаёт: отцовскую тетрадь с шифром, где записан секрет глазури. Игра быстро становится опасной. Газеты пишут о романе, конкуренты следят за каждым выходом в свет, а в обжиговом цехе на окраине Грачиного квартала кто-то уже лезет в шихту. Секрет перестаёт принадлежать одной Амелии.Кроу привык считать людей пешками, но всё чаще делает ходы, которых не просчитывал.

© Штерн М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 16
Глава 4 23
Глава 5 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Маргарита Штерн
Фарфоровая монополия

Глава 1
Опись

Описчики банка явились в среду, в половине восьмого утра, когда я ещё держала в руках чашку с остывшим кофе и не решила, ставить ли вторую партию шихты на сушку или подождать. Первый из них, невысокий человек в сером сюртуке с золочёными пуговицами, снял шляпу, стряхнул снег с полей на порог и сказал, что у него имеется акт о взыскании и что он будет признателен, если я не стану трогать ни одной формы до окончания работ.

— Каких работ? — спросила я.

— Описи, сударыня, — ответил он так вежливо, будто извинялся за погоду.

Акт был подписан управляющим Веллорского ломбардного банка, скреплён синей печатью и занимал четыре страницы. Я прочитала его дважды, стоя у конторки, пока за спиной скрипели сапоги и кто-то звякал связкой ключей от склада. Слова были одинаковые, как кирпичи в стене: залог, просрочка, недвижимое имущество с оборудованием, принадлежащее товариществу «Вейн и дочь». Последнее слово мне не понравилось больше всего. Дочь в этом товариществе была я. Товарищества, если разобраться, уже не существовало, оставалась вывеска над воротами, которую банкиры, очевидно, решили сохранить для описи.

Старшего звали господин Лоуэлл. Он носил очки на цепочке и смотрел поверх них так, словно каждый предмет в мастерской заранее числился в его списке и теперь требовал подтверждения. Молодой клерк при нём, по имени Питт, держал папку с бумагой и карандаш, которым то и дело тыкал себе в щёку, оставляя графитовую полоску.

— Формовочные столы, — диктовал Лоуэлл. — Четыре.

— Пять, — сказала я.

— Четыре, сударыня. Пятый не зарегистрирован.

— Пятый стоит в сушильне, потому что на нём сейчас сохнут блюда для ресторации на Закатном проспекте. Если вы его опишете, ресторация останется без ужина.

Лоуэлл поднял на меня взгляд поверх очков, и на мгновение мне показалось, что он готов посочувствовать. Потом он кивнул Питту, и тот записал: «пять, один в сушильне, владелец возражает».

Я ушла от них в гончарный зал и остановилась у круга. Мастерская пахла мокрой глиной, каолиновой пылью и остывшим металлом, и этот запах был единственным, что ещё оставалось моим без всяких актов. Окна выходили на Литейную улицу, где снег на мостовой уже превратился в серую кашу, а из труб соседних заводов тянулся жирный дым. Над Грачьим кварталом, в трёх кварталах отсюда, висело низкое небо цвета старого олова. Газовые фонари на углу ещё горели, хотя рассвет давно начался, и кто-то из рабочих, наверное, забыл погасить их вовремя.

Отец умер в сентябре, в обжиговом цехе, у второй печи. Ему было пятьдесят восемь, и, по словам доктора, сердце у него давно износилось, как клапан в старом паровике. Нашли его утром, сидящим на перевёрнутом ящике, с пробной плиткой в руке. На плитке был тот самый оттенок, который он называл «молочной ночью» и который не получался ни у кого в Эрендейле последние шесть лет. Я помню, как доктор сказал, что смерть была мгновенной, и как я подумала тогда, что отец ушёл, не закончив пробу.

Через неделю я слегла. Сначала это была простуда, потом горячка, потом воспаление в левом лёгком, и три недели я провела в комнате над мастерской, слушая, как внизу стучат

формы. Дела вёл Тобиас Гилл, наш старший приказчик, человек честный и очень спокойный, который умел считать, но верил банкирам так же легко, как верят погоде. Когда я наконец смогла спуститься по лестнице, он сказал мне, что всё под контролем, и я ему поверила, потому что другого выхода у меня не было.

Теперь я стояла у круга и понимала, что под контролем было разве что его спокойствие.

— Сударыня, — окликнул меня Питт из дверей. — Господин Лоуэлл просит ваши книги.

— Какие книги?

— Учётные. И записи по рецептуре, если таковые имеются.

Я почувствовала, как внутри что-то сжимается, точно пружина в часах, которую слишком туго завели.

— Записей по рецептуре нет, — сказала я.

Питт посмотрел на меня с тем выражением, с каким клерки смотрят на людей, сказавших неправду в первый раз и не умеющих это скрывать.

— Господин Лоуэлл всё равно спросит, — заметил он.

— Пусть спросит.

Я действительно не держала записей на виду. Состав глазури жил у меня в голове и в тонкой клеёнчатой тетради, которую я носила в кармане фартука и которая сейчас лежала там, прижатая к бедру, как чужое сердце. Отец записывал пропорции только для себя, шифром из сокращений, и однажды сказал мне, что глазурь — это не рецепт, а дыхание печи, и любой, кто умеет дышать в такт, сможет её повторить. Тогда я смеялась. Сейчас мне было не до смеха.

Лоуэлл ждал меня в конторе, за столом, где уже громоздились папки с печатями. Он перебирал бумаги с методичностью человека, который знает, что в каждой папке есть сюрприз, и сюрприз обязательно окажется неприятным. Питт стоял рядом с коробом, в котором хранились старые контракты, и вытаскивал оттуда связки.

— Вот, — сказал он и поднял тонкую папку, перевязанную синей тесьмой. — Это было в нижнем ящике, за поставками с Тарнского карьера. Вы это видели, сударыня?

Я взяла папку. На обложке стояло: «Закладная. Имущество, оборудование, патентные права на изделия товарищества». Внутри лежал документ, подписанный в марте прошлого года. Я не видела его никогда. Ни отец, ни Тобиас ни разу не говорили мне о закладной на патентные права, а именно таких бумаг я боялась больше всего, потому что патент был единственным, что стоило дороже печей.

Подпись внизу принадлежала отцу. Она была его, я бы узнала эти росчерки в любой темноте. И всё же что-то в наклоне буквы «О» было чуть правее, чем у него, и петля на «в» выведена плавнее, без того нервного разрыва, с которым он всегда ставил точку.

Почти его. Почти.

Я перевернула страницу и нашла таблицу. Суммы, даты, проценты, штрафные начисления за просрочку, которая началась в июне, когда я ещё сидела на кровати и не могла удержать ложку. Внизу стояла итоговая строка, выведенная жирно, с нажимом, каким пишут те, кто уверен, что с ними не будут спорить.

Четыре тысячи двести крон в начале года. Ещё шесть тысяч, которые отец, по словам Тобиаса, брал на закупку тарнского каолина. Остальное набежало за несколько месяцев: проценты, пени, комиссии, и какой-то сбор за «реструктуризацию», о котором никто из нас не слышал.

Я сложила пальцы на углу страницы и посчитала заново, сначала в уме, потом на обороте какого-то счёта, который Питт сунул мне, извиняясь за бумагу.

Двенадцать тысяч шестьсот крон.

Втрое больше, чем было в сентябре, когда отца вынесли из цеха на носилках. Втрое больше, пока я лежала с температурой и слушала, как внизу стучат формы.

Я посчитала ещё раз, потому что не могла поверить, и обе попытки дали одно и то же число.

Я закрыла папку и положила её на стол поверх других бумаг, аккуратно, углом к углу, как кладут то, что может взорваться. Руки были холодными, хотя печи в обжиговом цехе топили с ночи и тепло ещё тянулось по коридору от кирпичных стен.

— Вы в порядке, сударыня? — спросил Лоуэлл.

Он не встал. Смотрел на меня поверх очков так же, как смотрел на формовочные столы, и я поняла, что вопрос был задан из вежливости, а ответ ему нужен был только для протокола.

— Я в порядке, — сказала я. — Вот только не понимаю, откуда взялась эта бумага.

— Из архива банка, сударыня. Закладная переуступлена банку в декабре прошлого года. До этого она принадлежала товариществу «Сарн и компания», а товарищество, в свою очередь, получило права по соглашению с вашим отцом.

— С моим отцом.

— Подпись стоит его, сударыня.

— Я знаю, чья здесь подпись.

Лоуэлл снял очки, протёр их уголком платка и снова надел. Этот жест, как я поняла позже, был у него способом взять паузу, не выдавая, что паузу он взял.

— Тогда вам, вероятно, известно, — сказал он ровно, — что патентные права являются залогом по второму разряду, и что банк имеет право на их реализацию в случае просрочки. Просрочка, как видно из таблицы, началась в июне.

— В июне мой отец был жив и здоров.

— Я этого не оспариваю.

— Тогда почему в июне вы не прислали уведомление? Или прислали, но кому-то другому?

Питт, стоявший у короба, перестал вытаскивать связки. Он посмотрел на Лоуэлла, потом на меня, потом снова на связку в своей руке, и я увидела, как на его скуле снова появилась графитовая полоска.

— Уведомления направлялись по адресу товарищества, сударыня, — сказал Лоуэлл. — В контору на Литейной. Там, насколько мне известно, никто не распечатывал корреспонденцию с весны.

Тобиас. Я подумала о Тобиасе Гилле, который каждое утро поднимался в контору раньше всех, складывал письма в стопку и говорил, что разберётся. Я подумала о том, как он сидел у моей кровати, держа в руках чашку с отваром, и как сказал: «Не волнуйтесь, госпожа Амелия, банк ждёт, пока вы поправитесь, это обычная практика». Тогда я ему поверила. Сейчас мне захотелось проверить, сколько стоит его вера, и понять, кто её купил.

— Господин Гилл знал о закладной? — спросила я.

Лоуэлл на секунду задумался, и это было хуже любого ответа.

— Господин Гилл, сударыня, подписал акт приёмки имущества для описи. Всё остальное вам лучше спросить у него самого. Или у его нанимателя.

Я хотела спросить, кто его наниматель, но вместо этого спросила о другом:

— А шихта? В акт вписана шихта?

— Вписана, — сказал Питт и, словно извиняясь за собственную готовность помочь, добавил: — Двенадцать мешков в складе, сударыня. Тарнский каолин, полевой шпат и кварц. Плюс окиси, по списку. Мы вскрывать не будем, если вы не настаиваете.

— Я не настаиваю.

— Господин Лоуэлл сказал, что не будем, — повторил Питт, как будто это его личная заслуга.

Я вышла в склад. Там пахло пылью, мешочной тканью и чем-то сладковатым, что оставалось от окиси кобальта, которой мы в прошлом году потратили слишком много на пробные

партии. Мешки стояли ровными рядами, и на каждом был нарисован белой краской знак нашей мастерской, кривоватая восьмёрка с буквой «В» внутри. Отец рисовал его сам, в первый год, когда мы ещё не могли позволить себе печатный штамп. Я провела пальцем по одной из букв, и на подушечке остался тонкий белый след.

Двенадцать мешков. Я знала, сколько их должно быть, потому что сама каждый месяц подписывала накладные на поставку. Но за последние три недели кто-то приходил сюда без меня, и я не могла сказать, кто именно. Тобиас? Ханна? Кто-то из банка, кто знал, как выглядит шихта?

Из гончарного зала донёсся стук. Это Питт ставил на весы чашу с глиной, и весы отозвались тонким звоном, как всегда, когда их перегружали. Потом ещё один стук, уже в обжиговом цехе, где кто-то опускал на пол тяжёлый ящик. Я узнала этот звук. Так всегда стучал отец, когда не хотел, чтобы его звали к печи, и когда хотел, чтобы его слышали.

Я стояла между рядами мешков и думала о том, что в описи нет графы для того, что знают только двое живых людей. Пять формовочных столов, четыре печи, двенадцать мешков шихты, двадцать восемь пробных плиток на полке. Пружины, оси, решётки, сито для просева, весы, тигли. Всё это можно было посчитать, записать и отправить в банк, и клерк с карандашом щёлкнул бы напоследок по своей бумаге.

Но тетрадь с пропорциями лежала у меня на бедре, в кармане фартука. И в голове, там, где не умели писать ни Лоуэлл, ни Питт, оставался отцовский оттенок «молочной ночи», которого никто в Эрендейле не мог повторить уже шесть лет. Этого в акте не будет. Ни в одной строке.

Я вернулась в контору. Лоуэлл сидел на том же месте и что-то дописывал в свою папку, не поднимая головы.

— Двенадцать тысяч шестьсот, — сказала я.

— Именно так, сударыня.

— Мой отец не брал таких денег.

— Возможно, не брал, — сказал он, не отрываясь от бумаги. — Но подпись стоит его, а банк не отвечает за то, что было до переуступки.

Я села напротив него, на жёсткий стул, где обычно сидели поставщики. Питт снова начал вытаскивать связки из короба, и бумага шуршала так громко, будто её нарочно рвали.

Я смотрела на итоговую строку, выведенную тем же уверенным нажимом, и думала о том, что долги в этой стране растут быстрее, чем дети, и что люди, которые их считают, никогда не болеют.

* * *

Описчики ушли в шестом часу, когда за окнами уже стемнело и газовые фонари на Литейной вспыхнули один за другим, словно кто-то проверял их по списку. Лоуэлл запер свою папку на ключ, положил ключ в жилетный карман и долго стоял в дверях склада, разглядывая наши мешки так, будто прикидывал, сколько они стоят в переводе на его собственную жизнь. Питт уходил последним. Он дважды обернулся с порога, как будто хотел что-то сказать, но потом только кивнул и закрыл дверь так осторожно, что стекло в ней даже не звякнуло.

Мастерская затихла. Не сразу, а постепенно, как затихает на ветру жесть. Сначала перестали стучать формы в гончарном зале, потом в коридоре смолкли шаги, и наконец из обжигового цеха перестал доноситься ровный гул вытяжки. Осталось только потрескивание кирпича: печи ещё отдавали тепло, и стены под пальцами были тёплыми, почти живыми. Так было всегда, сколько я себя помню. Отец говорил, что дом, в котором печи не остывают, никогда не бывает совсем пустым.

Я зажгла лампу на столе и разложила перед собой всё, что Лоуэлл оставил. Не акт, акт он забрал, а то, что банк счёл нужным показать: копии таблиц, выписку из реестра, два письма с гербовыми печатями и третий лист, на котором кто-то аккуратным почерком перечислил даты платежей. Почерк был мужской, круглый, без наклона. Такой пишут люди, привыкшие ставить подписи сразу после того, как ставили точку.

Я начала с даты. Закладная была оформлена четырнадцатого марта прошлого года. Подпись отца стояла внизу, узкая, с длинной петлёй на конце буквы «В», которую он всегда тянул слишком далеко, как будто боялся, что не успеет дописать. Рядом с его подписью значилась печать нотариальной конторы «Квилл и сын», а ниже, мелко, другой почерк сообщал, что документ засвидетельствован в присутствии лиц, чьи имена указаны в приложении. Приложения не было.

Я положила лист на стол и посмотрела на него так, как смотрят на пробную плитку, когда она вышла из печи с трещиной, но трещина ещё не видна. Знакомое чувство. Сначала ты не понимаешь, что тебя тревожит, потом понимаешь, что тревожит всё сразу.

Четырнадцатого марта отец был в цехе. Я помнила это, потому что тогда мы как раз пробовали новую шихту с тарнским каолином, и он весь день ходил от печи к печи, ворча, что окись кобальта ложится неровно. Вечером он пришёл домой, поцеловал меня в макушку, как делал всегда, когда я сидела над расчётами, и сказал: «Не засиживайся, Ами, глазурь не любит спешки». Никакой конторы на Литейной, никаких нотариусов. Во всяком случае, он мне ничего не говорил.

Но отец и не говорил мне о многом. Особенно когда дело касалось денег. Он считал, что технолог должен думать о температуре, а не о процентах. Я сама в это верила, пока не стало ясно, что процентов тоже нужно думать.

Я перевернула лист. На обороте, карандашом, кто-то записал сумму, потом зачеркнул её и написал другую, большую. Цифры были нажаты так сильно, что бумага в одном месте протёрлась. Я провела пальцем по этому месту и подумала, что кто-то очень спешил или очень злился. Или и то и другое.

Тобиас Гилл. Я снова вернулась к нему, потому что больше было не к кому. Он работал в конторе восемь лет, с тех пор как отец взял его из гимназии для бедных, где тот учился на счетовода. Он знал, где лежат ключи от склада, знал, в каком ящике хранятся накладные, и знал, что в последние месяцы отец почти не появлялся в конторе. Он сам отвозил письма на почту и сам забирал банковские уведомления. Он же сидел у моей кровати в сентябре, когда у меня поднялась температура до тридцати девяти, и говорил, что банк подождёт. Я поверила ему, потому что хотела поверить. Теперь я понимала, что это была очень удобная вера для тех, кто её использовал.

Я записала его имя на обороте счёта, рядом с датой. Потом подумала, что это глупо, и зачеркнула. Потом подумала, что зачёркивание ничего не меняет, и оставила запись такой, какая была.

Около восьми часов в дверь постучали.

Стук был короткий, два удара, потом пауза, потом ещё один. Не описчик, те стучали громко и с уверенностью людей, которым платят за то, что они входят без приглашения. Я подошла к двери и спросила, кто там.

— Курьер, сударыня, — ответил мужской голос, охрипший от мороза. — Велено передать лично.

Я отодвинула засов. На пороге стоял парень лет восемнадцати в форменной куртке без нашивок, с мокрыми от снега плечами и шапкой в руке. Он был не из нашего квартала. Слишком чистые ботинки, слишком ровная спина, слишком уверенно он держал в правой руке конверт. Рабочие на окраинах не носят таких ботинок. Их износили бы за неделю.

— Кто послал? — спросила я.

— Не знаю, сударыня. Мне заплатили за доставку до вас и сказали не задерживаться. Плата внесена наперёд.

— Кем внесена?

Он пожал плечами, достал из-за пазухи карточку и протянул её мне, не выпуская из другой руки конверт.

— Больше ничего не велено говорить. Ответа не требуют, сударыня. Но если будет, в той же конторе примут.

Я взяла карточку. Она была плотной, из дорогой бумаги с тиснением по краю, без герба и без имени. На одной стороне почерк был тот же круглый, что на листе из банка, только менее старательный, словно писали второпях или с улыбкой. Одна строка: *Закатный проспект, дом 14, третий этаж. Завтра в девять.*

Больше ничего. Ни подписи, ни инициалов, ни даже завитка, по которому можно было бы понять, мужчина писал или женщина.

— Спасибо, — сказала я.

Курьер кивнул, надел шапку и ушёл, не оглядываясь. Снег за ним шёл ровно, без ветра, и на ступенях крыльца быстро темнел след от его ботинок.

Я закрыла дверь и вернулась к столу. Лампа горела ровно, тень от пустого стакана лежала на бумагах, как чужая рука. Я села, положила карточку перед собой и долго смотрела на неё, не трогая. Потом всё-таки взяла, перевернула, поднесла к свету и посмотрела на тиснение по краю. Оно было выполнено тонко, с тем вкусом, который стоит дороже всего остального.

Я знала этот проспект. Там продавали шляпы, фарфор для посольств и векселя, которые никогда не предъявляют к оплате, потому что их выдают там же, где и предъявлять. Там ходили люди, которые считали чужие долги, как мы считаем шихту: не глядя на мешки, а по накладным.

Завтра в девять.

Я поднесла карточку к губам, почувствовала запах холодной бумаги и подумала, что это плохая идея, и что Питт будет в ужасе, и что Ханна, если узнает, скажет что-нибудь насмешливое про господ, которые любят назначать встречи вечером и записывать их на открытках. Потом положила карточку в карман фартука, рядом с тетрадью отца, и поняла, что уже решила.

Завтра придётся туда поехать.

Глава 2
Печь на окраине

Утро началось с мороза, который пробирался под воротник и осаживался на ресницах мелкой ледяной пылью. Я вышла из дома на Подвальной ещё до рассвета, когда фонари на Литейной горели только через один, и пошла пешком. Извозчика я не стала звать: в Грачьем квартале они не показываются без особой нужды, а для того, что я собиралась делать, мне нужны были ноги, а не спина на мягком сиденье.

Тетрадь отца лежала в правом кармане фартука, тяжёлая, как кусок кирпича. Карточку я переложила в левый, и теперь при каждом шаге одна бумага весила больше другой. Глупо, конечно. Но я всегда ощущала тетрадь почти физически, будто в ней было что-то живое и недовольное.

Грачий квартал просыпался трудно. Снег, который выпал ночью, лежал на крышах белым, а на земле уже серел, перемешанный с угольной крошкой и конской мочой. Над трубами висел дым, густой, почти чёрный у самых заводских ворот и бледный выше, там, где его разгоняли ветер и утренние гудки. Гудки начинались с литейного завода Гроссе, потом подхватывал стекольный, потом все остальные, и к половине шестого район уже гудел, как огромный улей, в котором кто-то забыл закрыть крышку.

Я шла по Бочарной мимо закрытой пекарни, где в окне горела одна свеча, и мимо лавки старьёвщика, в витрине которой висели старые кастрюли с вмятинами и медный самовар без крана. Какая-то женщина в платке тащила санки с углём. Мальчишка в рваной куртке катил перед собой пустую бочку и в какой-то момент остановился, чтобы посмотреть на меня, и я поймала себя на том, что смотрю в ответ, как будто он мог подсказать, что делать дальше.

Он не подсказал. Он сплюнул и покатил бочку дальше.

Я думала о карточке. Закатный проспект. Дом четырнадцать. Третий этаж. Такой адрес означал, что там не ждут визитов от промышленников с окраин и уж тем более от разорённых технологов, которые пахнут горелым свинцом и не носят перчаток. Значит, меня ждали не как просительницу. Значит, кому-то было нужно, чтобы я пришла именно туда, а не в банк и не в полицейскую управу. Это было либо хорошим признаком, либо очень плохим, и я никак не могла решить, какой из двух вариантов мне нравится меньше.

Обжиговый цех стоял в конце Кузнечного тупика, за высоким кирпичным забором, на котором кто-то давно выбил надпись «Вейн и дочь», а потом закрасил её и написал поверх «Не курить». Ворота были открыты. Сторож Митч, сухой старик с трубкой, которую он не выпускал изо рта даже на морозе, поднял голову и посмотрел на меня поверх очков.

— Доброе утро, госпожа Амелия, — сказал он. — Не рановато ли для вас?

— Для меня рано не бывает, Митч.

— Это вы зря, — он выпустил клуб дыма. — Тут уже с утра знают, что вас нынче описали. Банковский клерк приходил, в очках, как у вас в конторе, только с серебряной цепочкой. Весь двор обошёл, всё пересчитал. Ханна его до крыльца проводила, так он потом полчаса не мог перчатки надеть.

— Ханна его проводила?

— Вежливо, — Митч поправил трубку. — Ей это недорого.

Я прошла во двор. Тут всё было как всегда: поленница, сложенная ровно, как по линейке, бочки с водой под брезентом, ломаные тачки у стены и ящики с шихтой, укрытые мешковиной. Снег здесь убирали каждое утро, и от этого двор казался шире, чем был на самом деле. Длинная кирпичная труба обжигового цеха поднималась над крышей, и от неё шёл ровный, ленивый дым, который почти не менял цвет.

Печь номер три работала. Её не останавливали даже тогда, когда у нас не было денег на уголь, и отец сам ходил к угольщикам Тарна, чтобы выторговать кристаллы по цене, от которой у тех сводило челюсть. Я помнила, как он возвращался с мешками на плече, мокрый и довольный, и говорил, что торг — это тоже ремесло, только без печи.

Ханна стояла у топки, спиной ко мне, в тяжёлой кожаной куртке, с закатанными рукавами, хотя мороз был такой, что у мальчишек трескалась кожа на губах. Она проверяла заслонку длинным железным прутом, методично, как будто считала зубья на шестерне. Волосы под косынкой были совсем седые, и только у висков ещё держалась прежняя рыжина.

Она услышала мои шаги и не обернулась.

— Ну надо же, — сказала она. — Госпожа Вейн. Спустилась в народ.

— Доброе утро, Ханна.

— Доброе, если вы так считаете. — Она выдернула прут, посмотрела на его кончик, на котором осталась тёмная окалина, и только тогда повернулась. Лицо у неё было широкое, обветренное, с морщинами у глаз, которые появляются у людей, привыкших щуриться на огонь. Глаза смотрели сухо. — Я думала, вы теперь в конторе сидите. Кофе пьёте с банкирами. Что вас сюда занесло? Хотите посмотреть, как бедные люди греются?

— Я хочу посмотреть на пробную партию. С вечера в четвёртом ряду стоит тридцать две плитки, я сама их ставила.

— Сами ставили, — повторила Ханна. — Слышишь, Бенедикт? Госпожа сама ставила. Вот что значит — технолог. Не то что мы, дураки, с руками.

Один из мастеров у дальней стены фыркнул, но не поднял головы. Остальные делали вид, что заняты, и делали это плохо. Я видела, как Бенедикт смотрит на меня из-под кепки: без злобы, но и без того, чего я ждала бы от людей, с которыми работала с семи лет.

— Ханна, — сказала я тихо. — Я пришла работать.

— Работать, — она кивнула. — В таком пальто.

На мне было серое шерстяное пальто, которое я носила последние три зимы. Оно было тёплым и старым, с протёртой манжетой на левом рукаве. Ничего дорогого в нём не было, и я поняла, что Ханна не о пальто.

— Вы пришли, потому что вас описали, — сказала она спокойно. — Знаю, Митч уже всё рассказал. Банк забрал у вас стол, а вы решили, что раз уж вам нечего больше терять, можно прийти в цех и показать, какая вы хорошая. Ничего, я не сержусь. Я только не верю.

— Я не спасаю свою шкуру.

— А что же тогда? Тетрадку вашу в кармане возите зачем? — Она кивнула на мой фартук, и я невольно прикрыла карман ладонью. Ханна это заметила и усмехнулась. — Вот видите. Все мы тут не дураки, госпожа. Тетрадка лежит, как камень за пазухой. Кто с такой ходит на завод просто так?

Я промолчала. Она была права в одном: тетрадь я не собиралась никому показывать. Ни ей, ни мастерам, ни тем более банку.

— Банк предъявил закладную на патент, — сказала я. — Подписанную отцом в марте прошлого года. Я не уверена, что подпись его.

— Не уверены, — повторила Ханна. — А вчера уверены были?

— Вчера я не знала о ней.

— Вот. — Она воткнула прут в землю у ног, как будто ставила флаг. — Вот в этом вся разница, госпожа. Вы про свои бумаги узнаёте последней. Мы про ваши долги узнали раньше, чем вы. Гилл ваш ещё в ноябре говорил Бенедикту, что банк дал отсрочку на два месяца, а потом пришёл клерк и сказал, что отсрочки никакой не было. Гилл к тому времени уже в новом пальто ходил. Тёмно-синем, с бархатным воротником. Бенедикт его у ворот видел, когда тот утром садился в извозчика.

Бенедикт у дальней стены опустил голову ниже, но я видела, как у него напряглась шея.

— Это ничего не доказывает, — сказала я.

— Не доказывает, — согласилась Ханна. — Здесь ничего не доказывает. Здесь просто смотрят. Вы, господа, любите говорить о доверии, о традициях, о семейном деле. Ваш отец это любил. Красиво говорил, я слушала. А потом у нас в цеху начали появляться люди в хороших пальто, и они всегда приходили первыми. Не отец ваш, не вы. Вот эти, которые в пальто. Они первыми узнают, что будет дальше, и первыми уходят, прихватив бумаги. Мы потом находим свои смены записанными на другой фамилии, а свои деньги, которые должны были получить, — в чужих карманах.

— Вы думаете, я уйду?

— Я думаю, что все уходят, — сказала Ханна. — Вопрос только, с крыльца или через чёрный ход.

Она сказала это без злости, почти устало, и от этого мне стало хуже, чем если бы она кричала. Крик я умела переносить. Крик был понятен, в нём было место для ответа. А вот усталость не оставляла ничего, кроме собственного молчания.

— Я не ухожу, Ханна, — сказала я наконец. — Я пришла посмотреть на плитки. И если в них то, что я думаю, мне понадобится ваша печь.

Ханна смотрела на меня долго, не моргая. Снег начал падать снова, мелкий, колючий, и на её косынку села снежинка, растаяла и оставила тёмное пятно.

— Печь моя, госпожа, — сказала она. — Вы её в свою книжку не записывайте. Идите, смотрите. Только учтите, что здесь всё слышно. И что я в отличие от вашего Гилла не умею делать вид, будто ничего не понимаю.

Она отвернулась, подняла прут и снова сунула его в топку. Я стояла на пороге цеха, и жар ударил мне в лицо, плотный, почти осязаемый, пахнущий горелой глиной и кристаллической гарью. Тетрадь в кармане фартука вдруг показалась мне очень тяжёлой.

Плитки стояли там, где я их оставила: в четвёртом ряду, на полке, которую Бенедикт сколотил из старой тары. Тридцать две штуки, ровными столбиками по восемь, остывшие за ночь. Я сняла верхнюю и почувствовала, как она холодит ладонь сквозь перчатку. Снаружи глазурь выглядела правильно: глубокий зелёный с молочным отливом, тот самый, который в прошлом году покупали для гостиниц на Закатном проспекте и который никто не умел повторить, потому что никто не знал, сколько в нём свинца и сколько ещё чего-то.

Я не стала смотреть на свет от фонаря. Фонарь в цеху был один, и тот висел над дальней печью, где Бенедикт и двое подручных перетаскивали сырьё. Я отнесла плитку к окну. Стёкла здесь не мыли, наверное, с тех пор, как при отце начали ставить новую вытяжку. Серый зимний свет продирался через копоть медленно и неохотно, но для того, что я хотела увидеть, его хватало.

Я повернула плитку к свету под углом, почти вровень с поверхностью, так, как смотрят на замёрзший пруд, когда хотят понять, где он треснул. Сначала ничего не было. Потом, у самого края, там, где глазурь собирается в каплю перед тем, как стечь на ободок, появилась линия. Тонкая, как волос, и такая же светлая. Она шла от края почти до середины и пропадала под слоем, как будто её там и не было.

Я провела по ней ногтем. Ноготь зацепил, и я поняла, что это не царапина на поверхности, а разрыв внутри свинцового слоя, который не выдержал усадки и разошёлся.

— Ханна, — позвала я.

Она не ответила сразу. Потом подошла, вытирая руки о куртку, и остановилась в двух шагах, как будто боялась испачкать плитку дыханием.

— Что там? — спросила она. — Опять пузыри?

— Смотрите сами. Под углом.

Ханна взяла плитку двумя пальцами, за ободок, и поднесла к глазам. Я видела, как она щурится, поворачивает её то в одну сторону, то в другую, хмурится, потом отодвигает плитку подальше и снова приближает.

— Волос какой-то, — сказала она наконец. — Или трещина. На всех?

— Нет. Я проверила шесть штук, пока шла через двор. На трёх такое есть, на остальных — сетка у самой ножки. Не такая явная, но есть.

— Это от тяги, — сказал Бенедикт из-за печи, не оборачиваясь. — Я говорил, что вытяжка на третьей гуляет. Холодный воздух идёт снизу, глазурь садится неровно. Мы уже три дня так работаем.

— Тяга тут ни при чём, — сказала я. — От сквозняка будут пузыри и поры. Здесь другое. Глазурь просто не сошлась с черепком. Она стянулась сильнее, чем он может принять, и лопнула, когда остыла.

— Сошлась, не сошлась, — Ханна поставила плитку обратно на полку, аккуратно, как ставят яйцо. — Я в глазури не разбираюсь, госпожа. Я в печи разбираюсь. Печь горит ровно. Я её сама смотрела, и кирпич не поплыл, и жар не скакал. Если бы что-то было с печью, я бы уже знала.

— Я не говорю, что с печью.

— А с чем же?

Я посмотрела на ряд плиток. Тридцать две штуки, и на каждой что-то неправильное, пусть и незаметное для того, кто не знает, куда смотреть. Отец в таких случаях говорил, что глазурь всегда рассказывает правду, только шёпотом, и надо уметь наклониться. Я наклонялась всю жизнь, и теперь у меня болела спина, и шея, и ещё что-то под рёбрами.

— С шихтой, — сказала я. — Пропорции чуть сдвинуты. Либо кто-то сыпал с избытком флюса, либо фритта пришла другой партии, с другим содержанием свинца. Я не знаю точно, пока не проверю записи за прошлую неделю.

В цеху стало тихо. Даже подручные перестали греметь ведрами. Бенедикт выпрямился у печи и посмотрел на меня через плечо, без улыбки.

— Записи, — сказал он. — Какие записи, госпожа? У нас в журнале смен пишут, сколько кристаллов сожгли и сколько брака вынесли. Про шихту там ничего нет. Шихту замешивает тот, кто её замешивает.

— Именно, — сказала я. — Кто её замешивает?

Он промолчал. Ханна смотрела на меня, и в её взгляде не было ни злорадства, ни радости, только холодное внимание, как у человека, который ждёт, когда соседская собака сама признает, что сбежала со двора.

— Вы хотите сказать, что это мы напортачили, — произнесла она.

— Я хочу сказать, что глазурь нельзя исправить вытяжкой. Её можно исправить только составом. Мне нужно пересчитать шихту и пустить новую пробу. Два обжига, не меньше, и я должна стоять у печи и смотреть, как садится слой. Без этого брак будет идти, пока не закончатся фритта и деньги на неё.

— Ну так считайте, — сказала Ханна. — Вы же у нас технолог.

Я достала тетрадь. Она была тёмно-синяя, с потёртым корешком, и её угол уже протёрся до картона от того, что я таскала её в кармане фартука вторую неделю. Я открыла её на первой странице и увидела то, что видела каждый раз: ряды цифр, которые без ключа не значили ничего. Отец записывал пропорции шифром, в котором буквы означали элементы, а числа — не граммы, а доли от доли. Ключ был у меня в голове и больше нигде. Ни в конторе, ни у банка, ни у Гилла.

Ханна увидела тетрадь и протянула руку.

— Дайте сюда.

Я не отдала. Я только открыла её шире, так, чтобы ей было видно страницы, но не было видно, что на них написано.

— Вы не сможете прочесть, — сказала я.

— А я и не собираюсь читать. Я собираюсь посмотреть, что вы там прячете.

— Ханна, если я отдам вам тетрадь, через неделю её содержимое будет у всех, кто стоит у ваших ворот. И не только у вас.

Она помолчала. Снег за окном стал гуще, и свет окончательно поблек.

— Значит, без вас цех не обойдётся, — сказала она тихо. — Так вас надо понимать?

Я смотрела на плитки. Мне хотелось ответить что-нибудь колкое, как отвечала Лиане в гимназии, когда та спрашивала, почему я не хожу на балы. Но колкости не получалось. Передо мной стоял брак, который могла исправить только я, и это было правдой, неприятной, как холодная вода за шиворотом.

— Без меня вы будете выбрасывать каждую вторую плитку, — сказала я. — Может, неделю, может, месяц. Потом фритта кончится, и вы будете выбрасывать все.

Ханна долго смотрела на меня. Потом кивнула, медленно, как будто подписывала что-то, что ей не нравилось, но подписывать было надо.

— Хорошо, — сказала она. — Помогу. Печь будет гореть, как вы скажете, и люди будут стоять, где нужно. Но у меня условие.

— Говорите.

— Ваши люди должны узнать правду о долгах первыми. Не из банковской бумажки, не от клерка в очках и не от Гилла в его синем пальто. Сегодня. До смены. Вы им скажете, что фабрика описана, что закладная, возможно, поддельная, и что будет дальше. Всё, что знаете. Пусть слышат от вас, а не от тех, кто уже всё решил.

— Это может привести к тому, что завтра уйдут все.

— Пусть уйдут, если их обманывали, — сказала Ханна. — Лучше уж от вас услышать, чем потом понимать, что вас сто лет вели за нос. Вы же не хотите, чтобы я вам потом говорила: «Я же предупреждала»?

Я подумала, что она уже говорит это, и говорит давно, с тех самых пор, как отец ходил к угольщикам Тарна и возвращался мокрый и довольный. Но спорить не стала.

— Хорошо, — сказала я. — Сегодня.

Ханна кивнула и отвернулась к печи. Бенедикт снова склонился над заслонкой, и подручные опять загремели ведрами, теперь уже не таясь.

Я закрыла тетрадь, но не убрала её. Засучила рукава, и холод из окна ударил в запястья. Потом подвинула к себе табурет, села рядом с полкой и открыла тетрадь на той странице, где отец когда-то написал рядом с цифрами одно слово, которое я так и не смогла расшифровать: «дождь».

Глава 3
Предложение на Закатном проспекте

Закатный проспект начинался от Старого моста и тянулся на полторы версты, и каждый дом на нём старался выглядеть так, будто его владельцы никогда не слышали о векселях. Извозчик высадил меня у четырнадцатого номера ровно в девять, не раньше и не позже, как будто сам получил указание. Подъезд был из серого гранита, с кованой решёткой, которую кто-то недавно чистил щёткой. На лестнице пахло воском и почему-то кофе. Я поднималась медленно, чтобы не запыхаться. Фартук я сняла и оставила дома, но тетрадь по привычке переложила из кармана пальто в сумку, а потом обратно в карман, потому что сумка казалась слишком заметной.

На третьем этаже дверь открыл мужчина лет сорока в сером сюртуке без единой складки. Он молча принял у меня пальто, молча посмотрел на мои ботинки, на которых ещё не растаял снег, и так же молча провёл меня по коридору. Коридор был длинным и пустым. На стенах не висело ни одной картины, только на одной, в самом конце, карта Веллора, испещрённая красными и синими булавками.

— Господин Кроу освободится через минуту, — сказал он у двери. — Прошу.

Кабинет оказался больше моей мастерской в городе и в три раза аккуратнее. Вдоль стены тянулись карты: заводы, шахты, железнодорожные ветки, какие-то схемы с подписями, которые я не успела прочесть. Стол стоял у окна, и на нём лежали стопки телеграмм. Стопки были разложены по размеру и, как мне показалось, по важности. Самая высокая стопка почему-то придавлена пресс-папье в виде чугунной шестерни. Ни фотографий, ни безделушек, ни цветов. Только чернильница, перьевая ручка и стакан воды, стоявший ровно посередине стола, будто его поставили для того, чтобы проверить, не дрогнет ли рука у гостя.

Я не села. Стояла у карты и смотрела на булавки. Синие, похоже, обозначали заводы, которые принадлежали концерну, красные — те, которые концерн собирался купить. Красных было больше. Одна булавка торчала как раз над Грачьим кварталом, над самой окраиной, и я долго её разглядывала, пока не сообразила, что это, вероятно, наш обжиговый цех. Мне стало неприятно, и я отвернулась.

Себастьян Кроу стоял у окна спиной ко мне. Я не услышала, как он вошёл, или он вошёл без звука, что для человека его роста было почти неприличным. Он был в тёмном костюме, без жилета, и держал в руке листок, который только что дочитал. Потом положил его на стол, поверх самой высокой стопки, и наконец повернулся.

Я видела его дважды до этого, оба раза издалека: на заседании биржевого комитета и на открытии нового вокзала, где он стоял в стороне от мэра и смотрел не на поезд, а на людей, которые на этот поезд смотрели. Вблизи он выглядел моложе своих лет, и одновременно в нём было что-то такое, отчего возраст казался неважным. Лицо спокойное. Волосы подстрижены коротко, без щегольства. Галстук завязан аккуратно, но не туго, будто он давно решил, что туго завязанный галстук — это признак человека, которому есть что скрывать.

— Госпожа Вейн, — сказал он. — Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста.

Голос у него был ровный. Не мягкий, не резкий. Такой голос бывает у людей, которые читают вслух инструкции по эксплуатации. Я подумала, что с таким голосом можно сообщить о землетрясении и никто не побежит к дверям.

— Я постою, — сказала я. — Если вы не против. Сидеть в вашем кабинете мне почему-то кажется обязательством.

Он чуть склонил голову, словно признавая справедливость упрёка, и сел сам. Жестом предложил мне стул напротив. Я не села.

— Вы получили карточку, — сказал он. — Значит, понимаете, что разговор касается вашей фабрики.

— Я понимаю, что меня пригласили в дом, где меня не знают. Такие приглашения обычно начинаются с расспросов о здоровье отца.

— Ваш отец умер в сентябре, — сказал он. — Мои соболезнования.

Он произнёс это без паузы, без наклона головы и без того выражения лица, с каким обычно говорят «соболезную». Как будто напомнил дату поставки.

— Благодарю, — сказала я.

— Тогда перейду к делу, — он сложил руки на столе. — Банк Лоуэлла предъявил закладную на патентные права мануфактуры «Вейн и дочь». Сумма на сегодня двенадцать тысяч шестьсот крон. Я знаю эту цифру, потому что знаю, что банк её вам сообщит к концу недели, и сообщит с процентами за просрочку. Срок погашения — конец марта. Фабрику опишут после этого, если долг не будет погашен. Вы это знаете.

— Знаю.

— Я могу погасить закладную сегодня. Все закладные, не только эту. Вместе с процентами, с векселями, которые ваш приказчик подписывал в прошлом году, и с теми, о которых вы пока не знаете. Я уже выкупил часть из них через подставных людей. Остальное будет выкуплено до конца недели.

Я молчала. За окном проехала телега с углём, и её колёса стучали по брусчатке громче, чем следовало.

— Взамен, — продолжил он тем же голосом, — вы станете моей любовницей на время, которое мне понадобится. Вы появитесь со мной на публике. Вы станете лицом бренда, который мы собираемся вывести на столичный рынок. И вы поможете мне расстроить помолвку, которую король навязал мне с Лианой Форсайт. Публично. Так, чтобы Форсайт не могла её восстановить, а король не мог обвинить меня в неуважении к нему.

Он говорил спокойно, перечисляя пункты, как перечисляют статьи расхода. Ни разу не отвёл взгляд, ни разу не улыбнулся, ни разу не повысил голос. Я вдруг поняла, что у него, вероятно, есть список на отдельном листе, и он смотрит на меня так, словно сверяется с ним.

— Вы закончили? — спросила я.

— Да.

— Тогда позвольте я переведу, потому что вы говорили на языке, которым я владею плохо. Вы предлагаете мне продать себя, а заодно семейную мануфактуру, и даёте за это в обмен то, что я уже и так могу потерять. Остаток от моей репутации вы оставляете мне в знак великодушия.

— Я предлагаю вам сохранить фабрику, — сказал он. — Остальное — издержки.

— Издержки, — повторила я. — Так вы и говорите? О моей семье? Словно речь идёт о партии товара на таможенном складе. Мы же, по-вашему, актив с хорошей репутацией и плохой ликвидностью? Вы, наверное, так и написали в своих бумагах. Я видела, как вы складываете листы. Вы складываете их, как человек, который считает, что сумма всегда сходится.

Он на мгновение задержал взгляд, и в этом взгляде не появилось ничего, что я могла бы назвать обидой или раздражением. Скорее интерес, как у человека, которому подали блюдо, которое он заказал, но в другом соусе.

— Партия товара не возражает, — сказал он. — Это её главное достоинство.

— Партия товара не умеет считать, — сказала я. — Это её главный недостаток. Вы ведь именно поэтому меня сюда позвали? Потому что я умею считать, а мой отец умел делать то, что вы не умеете купить?

Он ничего не ответил. Посмотрел на стакан с водой, передвинул его на полдюйма, словно выравнивая по невидимой линии, и снова поднял глаза.

— Я позвал вас, потому что вы единственный человек, который знает состав глазури, — сказал он. — Это не секрет, госпожа Вейн. Ваш отец рассказывал о своём изобретении каждому, кто слушал его в клубе, и многие слушали, пока не начали звать его старым чудаком. Вы не рассказываете ничего, но вы единственная, кто может рассказать.

От этих слов у меня похолодели пальцы. Я сжала ладони и спрятала их в рукава пальто, хотя снимать пальто не собиралась. Тетрадь в кармане вдруг показалась мне тяжёлой, как кирпич.

— Тогда вам стоило бы купить мои знания, а не меня, — сказала я. — Знания гораздо дешевле.

— Знания без вас бесполезны, — сказал он. — Они лежат в вашей голове и в вашей тетради, которую вы носите в кармане. Я видел, как вы её туда положили, когда входили. У вас привычка трогать карман, когда вы что-то решаете.

Я почувствовала, как лицо горит, и разозлилась уже на себя, а не на него. Он заметил. Конечно, заметил. Человек, который считает людей пешками, всегда замечает, где у пешки задвижка.

— Вы очень наблюдательны для человека, который говорит со мной впервые, — сказала я.

— Я наблюдаю за многими вещами, — сказал он. — Это входит в мою работу.

За дверью послышались шаги и тут же стихли. Тот самый мужчина в сером сюртуке, вероятно, стоял у порога и ждал, не понадобится ли что-нибудь. Себастьян не обернулся, но я подумала, что он знает о каждом шаге в своём доме так же точно, как о каждой булавке на карте.

— Скажите мне одну вещь, — сказала я. — Почему вы? Вы могли бы найти актрису, манекенщицу, дочь какого-нибудь разорившегося судовладельца. Кто угодно сыграет роль любовницы лучше меня. Я не умею держать веер и не знаю, куда смотреть на балу.

— Вы умеете смотреть на вещи, — ответил он. — Этого достаточно для роли. Остальному я вас научу.

— Вы меня научите, — повторила я и почувствовала, как внутри что-то поднимается, горячее и неприятное. — Вы, видимо, полагаете, что я буду благодарна за уроки.

— Нет, — сказал он. — Я полагаю, что вы будете считать. Это вы умеете лучше всего.

Я подошла к столу, наконец, и посмотрела на листок, который он положил поверх стопки телеграмм. Там были колонки цифр, даты и подпись, которую я не смогла прочесть вверх ногами. Цифры совпадали с теми, что сказал Лоуэлл. Даты тоже. Только в одной строке стояла дата, которой не было в банковских копиях: прошлая весна. Я отвела глаза, чтобы не показать, что заметила, и подняла их на него.

— Если я откажусь, — сказала я, — что вы сделаете с закладной?

— Ничего, — ответил он. — Её выкупит Корнелиус Марш до конца месяца. Он давно ждёт случая, и вы сами знаете почему. После этого описи будут не банковские, а его. Ваши печи, ваши формы и ваши рабочие будут работать на того, кто сначала просил вашего отца продать патент, а потом предлагал ему же место в совете директоров.

Он сказал это так, будто сообщал прогноз погоды. Я хотела возразить, что он лжёт, но вдруг вспомнила, как Марш целовал мне руку на похоронах отца и говорил, что готов помочь с любой бумагой. Тогда я приняла это за сочувствие.

— Вы очень хорошо знаете моих врагов, господин Кроу, — сказала я.

— Я знаю всех, кто может у меня что-то отнять, — ответил он. — Это тоже входит в мою работу.

Я выдохнула, медленно, чтобы он не слышал, как дрожит дыхание. Потом посмотрела на стакан с водой, который он так аккуратно выровнял, и вдруг подумала, что даже этот жест

был рассчитан. Он хотел, чтобы я смотрела на стакан, а не на его руки. Значит, руки у него тоже чем-то заняты.

— Я подумаю, — сказала я.

— Думайте, — сказал он, и в голосе впервые что-то дрогнуло, совсем чуть-чуть, как лёд под тонким слоем снега. — Только недолго. Банк не ждёт.

Я поняла, что, если сейчас уйду, он даже не встанет. Поэтому я не ушла.

Я достала из кармана блокнот, куда с утра, пока ждала на улице извозчика, записала пункты. Почерк у меня в такие минуты становился мелким и злым, но разобрать его было можно.

— Давайте по порядку, — сказала я. — Вы сказали «на время, которое мне понадобится». Это не условие. Это погода.

— Назовите срок, — ответил он.

— До открытия весеннего Сезона контрактов. Не позже. Если помолвка будет расторгнута раньше, договор теряет силу в тот же день, а мои обязательства переходят ко мне обратно. Закладные погашаются в день подписания, а не после. Я видела, как банки переносят сроки, когда им выгодно. Пусть будет записано: погашение в день подписания, наличными или векселем, с подписью управляющего ломбардного банка на самом документе, а не на отдельном письме.

— Хорошо.

Он не потянулся за пером и не посмотрел на лист, лежавший у него под рукой. Просто кивнул, как кивают при подсчёте накладных, где все строки сходятся.

— Фабрика «Вейн и дочь» остаётся за семьёй Вейн, — продолжила я. — Вы не получаете доли, опциона, права первой руки или залога. Ни вы лично, ни ваш концерн, ни ваши фонды, если они вообще у вас есть под другими названиями.

— Хорошо.

— Я не отвечаю ни за ваши долги, ни за ваши связи, ни за ваши письма. Если вы хотите, чтобы я лгала о нашем романе перед журналистами и перед этой вашей публикой, я буду лгать в пределах того, что записано. Ни шагу дальше.

— Хорошо.

Я подняла глаза. Он смотрел на меня без всякого выражения, и это было хуже, чем если бы он усмехнулся. Усмешку можно было бы оспорить.

— Никаких обязанностей, — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрогнул на последнем слове. — Ни публичных, ни домашних, ни каких-либо иных. Вы меня понимаете?

— Понимаю.

— Если кто-то попросит меня вести себя иначе, будь то вы, ваши знакомые или ваш лакей с гусиным пером, я уйду, и вы выплатите мне неустойку. Пять тысяч крон за каждое нарушение.

Он помолчал. Совсем немного, на один удар часов, которые стояли в углу кабинета и тикали так тихо, что я поначалу приняла их за собственный пульс.

— Пятьдесят, — сказал он.

— Что?

— Пятьдесят тысяч за каждое нарушение, — повторил он. — Вы назвали сумму меньше, чем стоит ваше имя на вывеске. Так не делается.

Я почувствовала, как внутри что-то сжимается, и вместо того чтобы обрадоваться, насторожилась. Торговец, который вдруг предлагает в десять раз больше, чем просили, либо дурак, либо знает, что товар ему не нужен. Он не был дураком. Это я успела понять за последние четверть часа.

— Хорошо, — сказала я медленно. — Пятьдесят. И ещё одно. Если Корнелиус Марш выкупит закладную на патент до того, как вы её погасите, вы обязаны выкупить её у него по номиналу, в течение недели, и без условий о совете директоров.

— Хорошо.

— Вы даже не спросите, зачем мне это?

— Вы хотите, чтобы Марш не получил ничего, кроме денег, которые ему никогда не понадобятся, — сказал он. — Это разумное желание.

Я не поняла, что именно меня задело: то, что он угадал, или то, как спокойно он об этом сказал, словно зачитывал цены на уголь. Я отвела взгляд к окну. Снаружи ветер гнал по Закатному проспекту снежную крупу, и газовые рожки вдоль тротуара горели неровно, один за другим, как будто их зажигал кто-то, кто торопился.

— Ещё, — сказала я. — Вы будете присутствовать при всех переговорах с банком. Лично.

— Нет, — сказал он. — Присутствовать буду я, а банк будет присутствовать в лице своих юристов. Вам этого достаточно?

— Достаточно.

Я опустила блокнот и посмотрела на стол. Раньше я не обращала на него внимания: слишком много было на нём карт, телеграмм и стакана с водой, который он до сих пор не тронул. Но теперь я заметила лист, лежавший под стопкой телеграмм, тот самый, который прикрыла рукой его бумажная папка. Он был не исписан от руки. Это был напечатанный на машинке текст с широкими полями и пустыми строчками. Первый пункт гласил: «Срок действия соглашения определяется датой открытия весеннего Сезона контрактов». Второй: «Права на фабрику „Вейн и дочь“ остаются за семьёй Вейн». Третий: «Ни одна из сторон не несёт обязательств, не предусмотренных настоящим соглашением». Слова были почти моими. Не совсем, но почти. Я узнала ритм, в котором строила фразы, даже если шли они в чужой, аккуратной грамматике.

На полях, карандашом, мелкими цифрами, стояла сумма. Пятьдесят тысяч. Рядом чья-то короткая пометка, которую я не смогла разобрать.

Я не стала поднимать лист. Не стала спрашивать. Посмотрела на стакан с водой, который он выровнял по невидимой линии, и вдруг поняла, что стакан стоит там не для того, чтобы я на него смотрела. Он стоит там, чтобы я не смотрела на бумагу.

— Вы что-то заметили? — спросил он.

— Ваша папка, — сказала я. — Она у вас уже открыта.

— Я открываю её каждое утро, — ответил он. — Иначе в ней ничего не появляется.

Он не стал её прятать. Просто придвинул чуть ближе ко мне, как придвигают пепельницу гостю, который не курит, но вдруг решил закурить.

И тут до меня дошло, так ясно, что стало почти смешно. Он не торговался со мной ни секунды, потому что торговаться было не о чем. Пункты были написаны до того, как я вошла в этот кабинет. Пятьдесят тысяч стояли на полях ещё до того, как я назвала пять. Мой блокнот, моя злость, моё «я подумаю», моя колкость насчёт партии товара, даже тот стакан, который я сначала приняла за случайность, — всё это было частью расчёта, который он вёл задолго до этого зимнего утра. Его вопросы не были вопросами. Его уступки не были уступками. Он просто ждал, какой из заранее приготовленных ответов я выберу.

Он знал, что я соглашусь, — подумала я. — *И знал, на каких условиях, раз даже не стал спорить о том, что мне было важнее всего.*

Я сжала блокнот в руке, и бумага хрустнула. Игра уже шла. Оставалось только выяснить, по чьим правилам, хотя ответ лежал на столе, между стаканом и телеграммами, и был написан чужим аккуратным почерком.

— Вы не спросите, почему я настаиваю на таких мелочах? — сказала я.

— Нет, — ответил он. — Мелочи — это то, что остаётся, когда всё остальное уже решено.

Он нажал кнопку звонка у края стола. Через минуту в дверях появился молодой человек в сером сюртуке, с чернильным пятном на манжете. Себастьян не назвал его по имени, только сказал:

— Перепечатать. Добавить пункты, которые продиктует госпожа Вейн. Копий три.

Клерк взглянул на меня, потом на лист с напечатанным текстом, потом снова на Себастьяна, и в этом взгляде было больше удивления, чем он, вероятно, хотел показать. Я поняла, что такие бумаги в этом кабинете обычно не переписывают. Их приносят готовыми.

— Диктуйте, — сказал Себастьян.

Я продиктовала. Клерк писал быстро и без помарок, и через четверть часа у меня на столе лежал новый лист, который пах свежими чернилами и казался чужим, как чужим кажется собственный голос, записанный на граммофон. Я перечитала каждую строку. Срок. Фабрика. Погашение в день подписания. Неустойка. Марш. Расторжение. Ни одного слова, которое можно было бы истолковать иначе, чем я хотела.

— Прочтите вслух, — сказала я.

Он взял лист. Не стал надевать очки, которых у него, кажется, и не было. Читал ровно, без выражения, как читают телеграммы о ценах на уголь, и ни разу не запнулся даже на пятом пункте, где я вписала слово «исключительно» и дважды подчеркнула его карандашом.

— Ещё одно, — сказала я, когда он дошёл до конца. — Вы не появляетесь в Грачьем квартале без моего ведома. Ни в обжиговом цехе, ни рядом с ним.

— Хорошо.

— И в моём доме вас не будет. Ни в каком виде.

— Хорошо.

— Вы не станете просить меня о чём-либо, что не записано здесь.

— Хорошо.

Я ждала. Сама не знаю чего. Может, паузы, которая дала бы мне повод ухватиться за что-нибудь и сказать: вот, видите, вы тоже торгуетесь. Или поджатых губ, или взгляда в сторону окна, или хотя бы досадливого вздоха. Ничего этого не было. Он отвечал так, как отвечает приказчик, когда покупатель просит упаковать товар в бумагу потоньше: без интереса, без раздражения, без малейшего желания понять, зачем покупателю эта бумага.

— Вы даже не спросите, что я от вас получу, кроме фабрики? — сказала я.

Он поднял глаза. Впервые за всё время мне показалось, что в них что-то мелькнуло, но тут же исчезло, будто облачко над рекой.

— Вы получите то, что записано, — сказал он. — Остальное вас не касается.

— А если я не захочу играть вашу роль до весны?

— Тогда вы уйдёте, и неустойка будет выплачена в полном объёме. Вы сами это записали.

Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, и разозлилась на себя за то, что это заметно. Он смотрел на меня спокойно, и мне вдруг стало ясно, что он не злорадствует и не ждёт победы. Он просто ставит галочки.

Клерк вернулся с тремя копиями. Себастьян взял перо, обмакнул его в чернильницу, которая стояла у самого края стола, и подписал первый лист, не перечитав ни строчки. Потом второй. Третий он придвинул ко мне вместе с пером.

— Перечитайте, — сказала я.

— Я уже прочёл, — ответил он. — Пока вы говорили.

Я не поверила. Но сверила каждую строку с тем, что помнила, и все они совпадали. Даже сумма на полях, которую я запомнила, исчезла. Или её никогда не переписывали в чистовик, а я просто не заметила, что лист уже другой.

Я взяла перо. Оно оказалось тяжелее, чем я ожидала. Подписалась на месте, отведённом под «сторону второго», и увидела свою фамилию рядом с его росчерком, длинным, спокойным,

без единого лишнего завитка. Странно, но в этом сходстве не было ничего торжественного. Просто две подписи на одном листе, как два счёта, которые наконец сошлись.

Часы в углу тикали всё так же тихо. За окном Закатный проспект уже зажёг фонари, и ветер больше не гнал крупу, а просто лежал на крышах, белый и неподвижный.

Я подумала о том, сколько времени ему понадобилось, чтобы написать эти строки. Не утром сегодня, не вчера. Раньше. Задолго до того, как я вошла в его кабинет с блокнотом, злостью и заготовленной колкостью, которую так и не успела произнести целиком. Он не удивился ни одному моему пункту, потому что все они уже были учтены. Он не возражал, потому что возражать было не о чем. Мои условия не стали для него неожиданностью, и от этого вся сделка выглядела как чужой чертёж, в котором я только указала, где поставить двери.

Он знал, что я соглашусь, — снова подумала я, уже без злости, почти без удивления. — *И знал, что мне будет важно не то, что он получит, а то, что останется за мной на бумаге.*

Я положила перо на стол. Его рука лежала рядом, в полудюйме от моей, и он не стал её убирать. Ни этого жеста, ни любого другого не было нужно. Игра шла по его правилам, я это понимала, и подписанные листы были тому доказательством. Оставалось решить одно: буду ли я делать вид, что не замечаю, или стану играть по тем же правилам, но с собственной картой в рукаве.

Глава 4
Условия

Договор, который мы подписали в понедельник, был всего лишь листом с условиями. Основной текст, тот, что определял права и обязанности обеих сторон на весь срок, прислали во вторник, в картонной папке с золотым тиснением «Кроу-Лаэрн». Папка была тяжёлой, как кирпич для обжига, и вызывала такое же уважение.

Юристы явились в четыре часа пополудни. Старший, господин Адельгейм, был высоким, сухим и седым, с манерой держать бумаги так, будто они могут сбежать. Младший, Фрай, молодой и румяный, носил с собой портфель, из которого то и дело доставал то очки, то карандаш, то платок. Оба поздоровались со мной вежливо и с тем особым вниманием, с каким в хорошем доме встречают женщину, про которую уже всё известно, кроме того, что важно.

Себастьян сидел за столом у окна. Перед ним стоял стакан воды, как и в прошлый раз. Он не пил из него. Иногда брал в руку, поворачивал, ставил обратно на то же самое место, на том же кружке влажного следа. Я уже заметила, что этот стакан появляется в каждом его разговоре, и начала подозревать, что вода здесь служит чем-то вроде предохранителя.

— Господин Адельгейм прочтёт основные разделы, — сказал он. — Если возникнут вопросы, госпожа Вейн их задаст.

— Вопросы возникнут у всех, кто умеет читать, — заметила я.

Адельгейм посмотрел на меня поверх очков, которые всё-таки надел, и кивнул, будто принял вызов, но не собирался его замечать.

Читал он долго. Срок действия, порядок выплат, условия передачи закладных, обязательства мануфактуры по поставкам, сроки отчётности. Всё это я уже знала по черновикам, и всё было написано так, как пишут люди, которые долго работают с банками: без единого лишнего слова, но с таким количеством оговорок, что каждая фраза держалась на соседних, как кирпичи в неправильно сложенной стене. Я слушала, кивала, делала пометки в блокноте. Фрай записывал мои пометки в свой блокнот, будто боялся, что я что-то упущу.

На четвёртой странице Адельгейм сделал паузу и перевернул лист.

— Раздел шестой, пункт второй, — сказал он. — Концерн «Кроу-Лаэрн» получает право пользования любыми производственными данными мануфактуры «Вейн и дочь», включая, но не ограничиваясь, технологические карты, рецептуры, режимы обжига и записи технолога, независимо от формы их хранения и местонахождения.

Он произнёс это ровным голосом и тут же продолжил, словно пункт был одной из множества строк расписания. Я поймала себя на том, что смотрю не на него, а на собственные руки. Они лежали на блокноте, и кончики пальцев были белыми от напряжения.

— Повторите, пожалуйста, — сказала я.

— Любыми производственными данными...

— Нет. Вот здесь, «записи технолога».

Адельгейм посмотрел на Фрая. Тот достал из портфеля какой-то документ, полистал его и кивнул. Значит, формулировка была стандартной, и кто-то уже проверил, что она не вызывает вопросов.

— Это обычная редакция для производственных соглашений, госпожа Вейн, — сказал Адельгейм. — Она защищает интересы сторон в случае технической проверки.

— Чьих интересов, господин Адельгейм?

— Обеих сторон.

— Тогда объясните мне, как записи технолога могут защищать интересы той стороны, которая эти записи вела, если их можно забрать вместе с печью и продать вместе с мешками шихты.

Фрай тихо кашлянул и уткнулся в свой блокнот. Адельгейм снова посмотрел на Себастьяна, но тот даже не повернул головы. Он смотрел в окно, где на крышах Закатного проспекта лежал серый снег, и по его лицу нельзя было понять, слышит ли он хоть слово.

— Дайте, пожалуйста, перо, — сказала я.

Мне подали. Я придвинула к себе первый экземпляр, того же текста, что стоял перед Адельгеймом, и аккуратно зачеркнула слово «любыми». Потом «включая, но не ограничиваясь». Потом — «независимо от формы их хранения и местонахождения», которое выглядело так, будто его писал человек, никогда не видевший печи изнутри.

Над пунктом я написала свой. Почерк у меня не такой ровный, как у клерков, и вышло криво, с наклоном вправо, как ходят люди, которые слишком долго стояли у горячей печи и привыкли опираться на одну ногу.

Сведения о составе глазури, шихты и режимах обжига, включая записи технолога мануфактуры, не передаются концерну и не могут использоваться его сотрудниками. Доступ к указанным сведениям сохраняется исключительно за технологом мануфактуры и лицами, которых он назначит письменно.

Пониже, уже мельче, я дописала: «Ни при каких условиях, включая проверку, ревизию и расторжение».

Потом подвинула лист к Адельгейму.

— Прочтите, — сказала я.

Он прочёл. Губы у него чуть сжались, и я поняла, что этот человек ценит аккуратность больше, чем хочет показать. Фрай заглянул через плечо и тихо сказал: «Очень чисто».

— Это невозможно, — сказал Адельгейм. — Концерн не может отказаться от права проверки. Это нарушит всю структуру контроля.

— Тогда пусть проверяет то, что вы считаете контролем. Бухгалтерию, сроки, выплаты. А рецептуру пусть проверяет тот, кто её знает. То есть я.

— Госпожа Вейн, речь идёт о производственном соглашении...

— Речь идёт о том, что ваш концерн через полгода будет решать, у кого из мастеров брать шихту. Я читала про такие соглашения. Сначала берут данные, потом пишут письма, потом назначают нового технолога, который всё поймёт по записям.

Адельгейм открыл рот, но не сказал ничего. Он посмотрел на Себастьяна, и только тогда тот повернулся от окна.

Он взял мой лист. Не поднял его, а просто подтянул к себе и положил перед собой, рядом со стаканом воды. Пробежал глазами по строкам, потом ещё раз, медленнее, и я заметила, что он задержался на слове «исключительно».

— Почему «исключительно»? — спросил он.

— Потому что «преимущественно» вы будете трактовать как «в основном», а «в основном» вас устроит всё, что вам нужно.

— А «исключительно» вас устраивает?

— «Исключительно» означает, что никто, кроме меня и назначенных мной людей, не имеет доступа. Никто. Даже вы.

Он слегка наклонил голову. Не улыбнулся, нет. Просто взглянул на меня так, как смотрят на чертёж, в котором кто-то нашёл ошибку и поставил на полях аккуратный вопросительный знак.

— Вы же понимаете, что я могу принять это без единой правки, — сказал он. — Вам не нужно меня убеждать.

— Тогда зачем вы держите меня здесь, если уже всё решили?

— Потому что вы правы, — ответил он.

Фрай снова кашлянул. Адельгейм тихо отложил очки на стол.

— Однако, — продолжил Себастьян, — есть одно изменение, которое я бы предложил.

— Какое?

— Слово «назначит». Вы напишете, что доступ предоставляется лицам, которых вы назначите письменно. Хорошо. Но вы не указали, кто будет хранить эти письменные назначения. Если вы будете единственным человеком, который их видит, то через год никто не сможет доказать, что вы кого-то назначали. Ни вы, ни я.

— Вы предлагаете мне отдать вам список моих людей?

— Я предлагаю, чтобы он хранился у нотариуса. Вместе с копией рецептуры в запечатанном виде. Вы будете знать, что её не открывали, а я буду знать, что вы её не подменили.

Я почувствовала, как внутри что-то натянулось. Он говорил спокойно, без нажима, и предложение звучало разумно. Слишком разумно. Ровно настолько разумно, чтобы я не смогла отказаться, не выглядев капризной.

— Вы хотите знать мою рецептуру, — сказала я.

— Я хочу знать, что она существует и что она не исчезнет, если с вами что-нибудь случится. Это разные вещи.

— Например, если я упаду с лестницы?

— Например, если вы заболеете, как прошлой осенью.

Я сама не заметила, как перестала дышать. Он сказал это без укора, почти буднично, и от этого стало хуже, чем если бы он бросил мне упрёк. Адельгейм опустил глаза в бумаги. Фрай замер с карандашом над блокнотом.

— Я не болела, — сказала я. — Я сидела у печи, пока её не обошли с описью.

— Я знаю, — сказал он. — Поэтому и предлагаю нотариуса.

Мы смотрели друг на друга через стол, и тишина в кабинете стала такой плотной, что даже часы под стеклом, казалось, тикали тише. Я видела, как он берёт стакан, поворачивает его в пальцах, и понимаю, что он делает это не от жажды, а чтобы занять руки.

— Нотариуса не нужно, — сказала я. — Пусть «назначит» остаётся, но без «письменно». Вы не получите мой список. Вы получите слово, что его никто не увидит без моего ведома.

— Слово не записывается в протоколе, госпожа Вейн.

— Тогда протокол будет таким, как я его напишу.

Он чуть заметно усмехнулся. Первый раз за весь день. Усмешка получилась короткой и почти незаметной, как трещина в глазури, которую видно только при свете окна.

— Вы настаиваете на слове «исключительно», — сказал он. — Но без права назначать письменно.

— Я настаиваю на слове «исключительно», а вы решаете, что я сочту нужным.

— Хорошо. Тогда объясните мне, почему вам так важно, чтобы я не знал даже о том, кому вы доверяете.

— Потому что вы уже знаете, кто мой мастер печи, — сказала я. — Вы знаете, где живёт её сын и как давно у неё больна спина. Вы знали всё это до того, как прислали мне карточку.

Адельгейм поднял глаза. Фрай медленно отложил карандаш.

Себастьян не ответил сразу. Он отпустил стакан, и тот остался стоять на своём кружке влажного следа, ровно там же, где и был.

— Да, — сказал он наконец. — Знал.

Больше он ничего не добавил. И этого «да» хватило, чтобы я поняла: разговор о словах кончился. Начался другой, и в нём каждое слово, которое мы сейчас выберем, будет стоить дороже, чем вся фабрика вместе с печами и тетрадью отца.

— Тогда давайте разберём каждое слово, — сказала я, придвигая к себе лист. — Начнём с «исключительно».

— Исключительно, — повторил Адельгейм, будто пробовал слово на вкус. — Тогда нужно определить, что считать сведениями. Глазурь, шихта, режимы обжига. А записи технолога?

— Записи технолога — это и есть сведения, — сказала я. — Иначе вы получите тетрадь, в которой будет написано «добавить столько-то», без единого слова о том, почему добавлять нужно именно столько.

— Мы можем обойтись перечнем.

— Перечень ничего не объясняет. Перечень вы поймёте, а тетрадь — нет.

Фрай тихо хмыкнул и быстро записал что-то в блокнот. Я не стала заглядывать. Мне важнее было, как Адельгейм отнёсся к моей фразе: он не спорил, а кивнул, как кивают человеку, который говорит на понятном языке, но с неприятным акцентом.

Себастьян за всё это время не произнёс ни слова. Он сидел в своём кресле, слегка повернувшись к окну, и держал в пальцах карандаш, которым не писал. Иногда он переводил взгляд на мой лист, иногда на часы под стеклом. Часы показывали четверть одиннадцатого, и я подумала, что он ни разу не посмотрел на них в прямом смысле, а только косился, будто отмечал, сколько времени у нас осталось до следующего пункта.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Оставим «исключительно» и запишем, что перечень может уточняться по взаимному согласию. Адельгейм, добавьте.

— Уточняться — это не одно и то же, что изменяться, — сказала я.

— Разумеется. Изменяться без согласия вы не позволите. Я это уже понял.

Он сказал это спокойно, почти приветливо. Адельгейм записал. Я отметила, что Себастьян даже не стал дожидаться, пока я возражу, и это было не уступкой, а ходом. Он сделал движение, которое мне понравилось, и теперь у меня было ощущение, что я должна ответить тем же.

Я не ответила. Вместо этого спросила о сроках.

— Девятнадцатое марта, — сказал Адельгейм. — За две недели до Сезона контрактов. Концерн обеспечивает оформление помолвки.

— Какой помолвки? — спросила я, хотя прекрасно знала.

— Той, которую мисс Форсайт и её отец уже считают формальностью, — сказал Себастьян. — Она человек практичный. Ей не нужны сцены. Ей нужна ясность, и она её получит.

Фраза прозвучала гладко, как заготовленная речь на открытии выставки. Ни одного лишнего слова, ни одной запинки. Сказана она была так, будто он произнёс её не сегодня, а несколько дней назад, перед зеркалом или перед кем-то, кто должен был её услышать. Я поймала себя на том, что ищу в его лице признаки раздражения, но их не было. Было другое: короткое, почти незаметное напряжение в уголке губ, как у человека, который слышит собственный голос, записанный на фонограф.

Формальность. Слово он употребил дважды за одну минуту, и оба раза с одинаковой интонацией. Так говорят те, кто заранее знает, как всё закончится, и не хочет, чтобы кто-то задал вопрос о том, как к этому пришли.

Я могла бы спросить: откуда вы знаете, что мисс Форсайт считает помолвку формальностью? Разговаривали ли вы с ней? Кто ей это сказал? Но я понимала, что любой такой вопрос станет для него подарком. Он ответит спокойно, с готовой фразой, и моё любопытство будет выглядеть как слабость.

Поэтому я просто кивнула и записала на полях своего экземпляра: «Лиана Форсайт, формальность». Почерк вышел ровным, без наклона, как у клерка. Себастьян, конечно, заметил. Он всегда замечал, что делают руки, а не рты.

— У вас есть вопросы по сроку? — спросил он.

— Нет. У меня есть вопросы по тому, что будет, если срок не выдержат вы, — сказала я.

— Тогда вы получите неустойку, — ответил он. — Пятьдесят тысяч крон. Вы же её и вписали.

Адельгейм поднял глаза от бумаги, видимо, ожидая продолжения, но продолжения не было. Себастьян смотрел на меня с выражением человека, который закончил партию и теперь вежливо ждёт, пока соперник сам заметит, что проиграл.

Мне стало неприятно. Не из-за неустойки. Из-за того, что он уже знал, на каком пункте я остановлюсь.

— Пусть будет так, — сказала я. — Подписываю.

Фрай развернул первый экземпляр и положил передо мной, рядом с чернильницей. Перо было тяжёлым, с золотым пером, каким подписывают документы, а не письма. Я обмакнула его, стряхнула лишнее о край и вывела свою фамилию. Буквы получились ровными, но кончик «н» дрогнул, и я подумала, что он это тоже увидит.

Потом второй экземпляр. Потом третий, который должен был остаться у Адельгейма. Каждый раз Фрай подавал мне промокашку, и каждый раз я аккуратно промокала подпись, будто от этого зависело, не размажется ли что-нибудь на следующей неделе.

Себастьян подписал после меня. Без спешки, без нажима. Он выводил буквы так, будто проверял, что каждая из них стоит на своём месте. Закончив, он отложил перо и выровнял лист пальцами, так что уголки совпали с краем стола.

— Вот и всё, — сказал он.

— Пока нет, — ответила я.

Он поднял голову.

— Вы будете ждать первого шага, — сказал он. — Я знаю.

— Я буду ждать, когда вы сделаете второй, — сказала я и встала, одёрнув жакет.

Я не была уверена, что он поймёт, о каком шаге говорю. Но мне было важнее другое: я видела, как он произнёс «формальность», и знала, что он сам в это не до конца верит. Значит, у меня есть ход. Один, возможно, два. Достаточно, чтобы переиграть человека, который говорит заранее приготовленными словами.

Я взяла свой экземпляр, сложила его вчетверо и опустила в карман фартука, рядом с тетрадью отца. Там он лежал тяжелее, чем должен был весить лист бумаги.

Фрай проводил меня до двери, но в коридор не вышел. Он придержал створку, и в проёме показалась приёмная с высокими окнами и серым утренним светом. Я обернулась. Себастьян стоял у стола и складывал свой экземпляр пополам, потом ещё раз, пока бумага не стала толщиной с визитную карточку.

— Вы что-нибудь забудете, — сказал он. — Уходящие обычно забывают зонт.

— У меня нет зонта.

— Тогда вам повезёт, потому что к вечеру пойдёт дождь.

Он сказал это без улыбки и не посмотрел в окно. Смотрел на меня, и взгляд был ровным, почти скучающим, как у человека, который отмечает погоду в журнале наблюдений. Я решила, что это шутка, и не стала её поддерживать.

В приёмной пахло воском и свежей бумагой. Секретарь, юноша с аккуратным пробором, поднялся, чтобы подать мне пальто, и я заметила, что на его столе лежит стопка телеграмм, перевязанная шёлковой лентой. Верхняя была вскрыта. Я успела прочитать только слово «Форсайт» и дату, прежде чем юноша переложил бланк под промокашку. Он сделал это так быстро, что стало ясно: его учили быстро.

Спускаясь по лестнице, я считала ступени, потому что так было проще не думать. Двадцать четыре. На каждой площадке висела картина в тяжёлой раме, и на каждой был один и тот же сюжет: корабль, который уходит в туман. Кто-то в этом доме явно любил символы, которые легко читаются.

Слово «формальность» крутилось в голове, как неисправная шестерня. Он произнёс его два раза, и оба раза одинаково. Если бы я сказала об этом вслух, он ответил бы что-нибудь вроде «мисс Форсайт человек практичный» или «вам показалось», и каждый ответ был бы правильным. Поэтому я не скажу. Пусть думает, что я не заметила. Пусть думает, что мне интересны только сроки и неустойка.

На нижней площадке я остановилась и заставила себя дышать ровно. Мне было неприятно, что его голос звучит у меня в голове лучше, чем мой собственный. Это была не симпатия. Это было профессиональное раздражение человека, который слишком долго смотрит на чужую работу и понимает, что там есть брак.

У подъезда ждал экипаж без гербов. Кучер, пожилой, с красным от мороза носом, открыл дверцу и сказал, что господин Кроу распорядился отвезти меня куда угодно. Я назвала Грачий квартал. Он не удивился и не возразил, только поправил на коленях плед и тронул вожжи.

Пока мы ехали вдоль Закатного проспекта, я вынула из кармана фартука тетрадь отца и положила её на колени поверх сложенного контракта. Тетрадь была тёплой, будто её кто-то держал до меня. Я раскрыла её на первой странице, где отец написал шифром шапку, и подумала, что теперь у меня есть два документа, которые мне не принадлежат по-настоящему. Один я подписала. Другой должен был ещё ответить мне.

На углу Гранитного моста экипаж притормозил перед телегой с углём. Я смотрела, как на мостовую сыплется чёрная крошка, и отмечала про себя, что к вечеру всё равно будет дождь. Зонт, конечно, я не взяла.

Глава 5
Первый выход

Экипаж Кроу остановился у театра за десять минут до начала, и это было первое, что меня насторожило. Опоздать на выход в свет означало бы привлечь внимание. Приехать слишком рано означало, что кто-то рассчитал, сколько времени понадобится фотографам, чтобы занять места у колонн.

Они уже стояли там. Трое или четверо, в тёплых пальто с поднятыми воротниками, с ящиками на ремнях. Один держал в руке коробку с порошком для вспышки и делал вид, что греет над ней пальцы.

— Не смотрите на них, — сказал Себастьян.

— Я и не собиралась.

— Вы смотрите на колонны. Это то же самое.

Он вышел первым и обошёл экипаж. Я видела его через стекло: он стоял на ступеньке и ждал, не подавая знака, пока кучер откроет дверцу. Когда дверца открылась, он не протянул руку сразу. Выждал ровно столько, сколько нужно, чтобы первый фотограф поднял аппарат, и только тогда подал мне ладонь.

Платье было не моим. Его прислали утром из рекламного отдела Кроу-Лаэрн, в картонной коробке, вместе с запиской: «Для вечера. Оттенок подобран под фарфор». Фарфор, о котором шла речь, был серо-голубым, с тонкой эмалевой полосой по краю, и платье, судя по всему, создавали под ту же палитру. Я прикинула, сколько людей над ним работали, и поняла, что никто из них не спрашивал, нравится ли мне такой цвет.

Я приняла его руку. Не всей ладонью, а двумя пальцами, как учили в пансионе, и тут же почувствовала, что он смотрит не на меня, а поверх моей головы, на фотографов.

— Вы держите меня так, будто я могу упасть, — сказал он тихо.

— А вы держите меня так, будто я уже упала, — ответила я.

Уголок его рта дрогнул. Совсем немного, но я заметила.

— Улыбнитесь, — сказал он. — Так, будто я сказал что-то остроумное.

— Вы сказали?

— Нет.

Я всё-таки улыбнулась. Вспышка ударила по глазам белым светом, и на мгновение весь проспект превратился в одну сплошную полосу: фонари, колонны, блестящий от сырости гранит. Кто-то крикнул мою фамилию, неправильно, с ударением на первый слог. Кто-то другой назвал Себастьяна «господин Кроу», и в этом слове было больше уважения, чем в любом контракте.

Он повёл меня по ступеням медленно, на полшага впереди, так что моя рука оказалась в его локте, а не наоборот. Это было тонко. Когда-то я видела, как отец проводил таким образом покупателя через цех, показывая ему печь, которой тот ещё не заплатил. Хорошо сделанная вещь всегда ведёт себя так, будто сама решает, куда идти.

У входа нас ждал распорядитель с журналом приглашений. Он заглянул в список, поднял глаза на Себастьяна, потом на меня, и я увидела, как в его лице шевельнулась сложная работа мысли: кто я, откуда, почему рядом с таким человеком оказалась женщина в платье с чужого склада.

— Мисс Вейн, — сказал Себастьян, не дожидаясь вопроса. — Моя спутница.

Слово «спутница» прозвучало безупречно. Оно не обещало ничего, кроме того, что сказано. Распорядитель кивнул и отступил.

Фойе было таким, каким его описывают в газетах: мрамор на полу с золотыми прожилками, высокие зеркала, люстры, в которых горели кристаллы магического топлива, ровным светом, без мерцания и копоти. Здесь не пахло углем. Здесь вообще ничем не пахло, кроме духов и воска, и я подумала, что в Грачьем квартале сейчас пахнет печной золой и сырой глиной, и никто в этом зале не узнает этого запаха, даже если его принесут на подошвах.

Себастьян вёл меня от группы к группе. Он не представлял меня, а словно вводил в разговор, как вводят деталь в механизм, зная заранее, куда она встанет. Банкир с седыми бакенбардами. Вдова, владелица трёх ткацких фабрик на севере. Молодой инженер из «Марша и сыновей», который смотрел на меня так, будто пытался вспомнить, где видел мою фамилию, и не мог решить, хорошо это или плохо.

— Вы знакомы с Маршем? — спросила я, когда мы отошли.

— Знаком, — ответил Себастьян. — Он тоже знакомится со мной. Иногда это занимает одинаковое время.

— И кто выигрывает?

— Тот, кто уходит первым.

Я хотела сказать, что это не ответ, но он уже повернулся к дверям зрительного зала, и, видимо, разговор был закончен.

Тогда я её и увидела.

Лиана Форсайт стояла у противоположной колонны, в тёмно-синем платье без единой вышивки, и держала в руке бокал, который не пила. Волосы были собраны низко, на затылке, и свет люстр ложился на них так ровно, что казалось, будто его отмерили линейкой. Рядом с ней, немного сзади, стояла пожилая дама в чёрном, похожая на сторожа, которому доверили охранять то, что не стоит охраны.

Лиана смотрела не на меня. Она смотрела на руку Себастьяна, которая лежала на моём локте. Смотрела с таким вниманием, с каким я когда-то разглядывала брак в партии глазури: без злости, без презрения, с точным пониманием того, что это значит и во что обойдётся.

Потом она подняла глаза и встретилась взглядом со мной. Улыбка у неё была холодной, но не пустой. Такой улыбают, когда видят ход, который уже знают наизусть, и не могут решить, стоит ли говорить о нём вслух.

Я почувствовала, как рука Себастьяна слегка напряглась. Совсем незаметно. Он тоже увидел её, и, судя по тому, как он замедлил шаг, понял, что она увидела его.

— Вы знаете мисс Форсайт? — спросила я, не поворачивая головы.

— Знаю, — ответил он.

— Она тоже знает вас.

— Ей это удобно.

Я хотела спросить, что именно ей удобно, но в этот момент Лиана слегка наклонила голову. Один раз, коротко, почти незаметно, как кланяются в церкви, когда не хотят, чтобы это видели соседи. Жест был адресован мне, и в нём не было ни приветствия, ни вызова. Было что-то третье, что трудно было назвать словом.

Предупреждение. Или приглашение. Или то и другое сразу, потому что тот, кто умеет считать ходы, всегда оставляет в них место для ответа.

Я кивнула в ответ, так же коротко.

Себастьян ничего не сказал. Он только ещё раз посмотрел на Лиану, потом на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то, чего я не успела прочитать. Звонок над дверями зрительного зала прозвенел дважды, и толпа потянулась к проходам, как вода к сливу.

Лиана повернулась к своей спутнице и что-то тихо сказала. Та кивнула и пошла впереди, не оглядываясь. Сама Лиана задержалась на секунду, будто забыла что-то в фойе, потом поставила бокал на край подноса и пошла за дамой в чёрном.

Я смотрела ей в спину и думала, что мне впервые за этот вечер захотелось говорить правду. Не потому, что это принесло бы пользу. Просто чтобы кто-то из этих людей перестал улыбаться и ответил прямо.

— Идёмте, — сказал Себастьян. — Мы опаздываем.

— Мы не опаздываем, — ответила я. — Нас ждут.

Он посмотрел на меня, и на этот раз в его лице не было ни скуки, ни расчёта. Было что-то похожее на раздражение, но тут же исчезло, будто его прибрали со стола.

— Тогда пойдёмте, — сказал он, — пока нас ещё ждут.

Мы вошли в зал под свет люстр, и фотографы у дверей снова вскинули аппараты. Я улыбалась. Себастьян держал мою руку так, будто она принадлежала ему по праву, и ни один человек в зале не догадался бы, что за минуту до этого мы оба смотрели на одну и ту же женщину, и каждый из нас думал о ней по-своему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.